

НАВСТРЕЧУ НЕВСТРЕЧАМ

Когда в 1999 году чилийскому писателю Луису Сепульведе исполнилось пятьдесят лет, он сообщил, закончив в седьмой раз править рукопись своей новой книги (про последнюю картину знаменитых американских комиков Лорела и Харди), о твердом намерении навсегда бросить писательство ровно через пять лет, стало быть в 2004 году. "...Я думаю, что поработал достаточно, и мне хочется жить у моря, ловить рыбу, растить внуков и спокойно стариться рядом с моей женой". В России Луиса Сепульведу не публиковали ни разу, и мы с ним встречаемся впервые почти в канун его отказа от литературного творчества, если он не переменит своего решения. Как знать? Луис Сепульведа в расцвете творческих сил, на вершине успеха, один из самых публикуемых, читаемых и переводимых в Европе латиноамериканских авторов, настоящая звезда современной литературы, а звезды, как мы знаем, непредсказуемы.

У Луиса Сепульведы, человека очень деятельного, биография насыщена событиями: он сидел в тюрьме после прихода к власти Пиночета, затем покинул Чили, жил в разных странах Латинской Америки и Европы, и теперь дом его – в астурийском городе-порте Хихон на Бискайском заливе.

Все, о чем рассказывает Луис Сепульведа, этот странник по судьбе и по призванию, происходит, проживается и переживается на разных географических широтах: чилийская Антарктида, тропическая сельва Южной Америки, Гамбург, Мадрид и т.д. Географический разброс виден и в сборнике рассказов "Невстречи", составленном из четырех циклов с пронзительными названиями: "Невстречи в дружбе", "Невстречи с самим собой", "Невстречи в быстротекущем времени", "Невстречи в любви". Рассказы этих циклов разнятся по темпераменту, ритму, сюжетной проясненности, манере письма, но все объединены непривычным словом "невстреча". Это слово не принимает компьютер, его нет в толковых словарях – русских, испанских, – а в словаре латиноамериканизмов оно производно от глагола "разминуться", "разойтись во мнении". "Невстреча" Сепульведы вызывает в памяти ахматовские строки: "Несказанные речи / я больше не твержу, / но в память той не встречи / шиповник посажу". В цикле "Невстречи в любви" у Луиса Сепульведы та же тоника этого слова, что у Ахматовой, но в целом у чилийского писателя слово "невстреча" приобретает более емкий смысл. Обреченность на не встречу, на загадочное стремление ей навстречу Сепульведа угадывает в какой-то внутренней логике сцеплений и обстоятельств в жизни отдельного человека или целого народа, в самых внятных или невнятных поворотах человеческих чувств, намерений и поступков. Судьба стучится в дверь по-разному в его рассказах, но везде звучит эта тема непопадания, несовпадения, не встречи и наконец — утраты. И в каждом рассказе о такой встрече-невстрече есть изысканное умение при внешней эскизности сюжета многое сказать и объяснить особой выразительной деталью. А главное — есть тонко выраженное сочувствие человеку, загнанному в трудные ситуации; сочувствие, порой вроде бы и неоправданное, нежданное. Поэтому рассказы Сепульведы делятся в нас самих и дают возможность откликнуться памятью, узнать свое.

Элла Брагинская

ПОСЛЕДНИЙ ФАКИР (Из цикла “Невстречи в дружбе”)

Тут не может быть спору. Никто не скажет, что были у тебя друзья получше, чем тот, кто сейчас говорит с тобой, глотая слезы. Такого, как я, у тебя никогда не было, никогда. У нас не так уж много хороших знакомых, но думаю, все давно убедились, что я к тебе относился с такой огромной нежностью, какую не сразу поймешь, ведь мужская дружба — вещь особая, тут ни к чему громкие слова, просто наливаешь другу стакан вина, аккуратненько, так, чтоб и капли не пролилось.

Мужская дружба — это когда молча кладешь пачку сигарет на стол, чутье, оно само подсказывает, что другу надо закурить. Мужская привязанность — это когда слушаешь и слушаешь, не перебивая, о нескончаемых невзгодах и бедах, которые обрушиваются на человека, а потом молча похлопаешь его по спине. Да, вот она, бескорыстная мужская дружба, которую видели все, почти все, кроме тебя самого. Ну припомни... Мы же друг другу как родные, правда? Разве не я сказал тебе однажды, что ты должен добиться признания, стать артистом, выступать как они, по два раза в день. Ну вспомни, вспомни, разве не я говорил, что пора показать людям, чего ты стоишь, хотя бы из уважения к той пригоршне таланта, который вдруг возьмет и появится в нас то ли с голодухи, то ли с горя. А еще вспомни, кто прибежал к тебе с афишей, кто ее написал на белом картоне! Здорово у меня получилось! Как сейчас помню:

“Прочь все сомнения! В нашем мире сплошного обмана наконец-то верх взяла правда. Пресса и телевидение уже показали это тысячам разуверившихся людей. Али Касам — воистину последний из настоящих факиров, какие еще остались на земле. Али Касам съедает электрические лампочки, словно это вафли, и глотает бритвенные лезвия, как анальгин. Али Касам творит такие удивительные подвиги благодаря вегетарианскому образу жизни, которому он следует не хуже любой лошади. Али Касам — худой, как тростинка, но у него отменное здоровье, и он приносит благодарность уважаемой публике, которая затаив дыхание с восторгом следит за его выступлениями. Дважды в день Али Касам будет глотать на ваших глазах битое стекло и металлические предметы, а затем уйдет со сцены, чтобы передохнуть и поразмышлять о жизни, сидя на табурете, утыканном гвоздями. Мы приглашаем вас вместе со всей семьей посмотреть на Али Касама, последнего настоящего факира, который чудом уцелел в этом мире, где царят шарлатаны и жалкие подражатели. Али Касам будет выступать в вашем городе всего несколько дней, затем он продолжит свой путь, начавшийся с берегов далекой и загадочной Индии, с тем, чтобы обрести истину и покой”.

И прости, что напоминаю, но кто как не я нашел такое славное имя, не будь меня рядом, ты бы со своей придумкой насчет “Гран Маурисио” не завернул бы и за угол собственной улицы. Да и тюрбан смастерил тебе опять же я, кто еще, и он получился точь-в-точь как в журнале “Селексионес”, так что чтение приносит какую-никакую пользу. А тюрбан получился на славу, как для настоящего султана, — ну правда, друг, разве сравнишь его с этими клейкими полосками, которые накручивают на голове у циркачей.

И если я сейчас все это тебе говорю, то вовсе не из какой-то корысти. Нет! Что сделано, то сделано, чего уж! Просто еще раз хочю напомнить, что без меня ты бы

не вышел в артисты и не видать тебе свое имя в газетах. Вспомни лучше, что в цирке тебя под конец сделали уборщиком и ты менял львам опилки, чтобы мочой не воняло. Потому что, когда на самой середине представления тебе вдруг свело руки судорогой, всем стало ясно, что для человека-змеи ты никак не годишься. И кто заметил твою редкостную худобу в те самые минуты, когда ты — весь в резиновом зеленом костюме — дергался и никак не мог вытащить руку из-под затылка? Я, твой друг, кто же еще! Вспомни, как я к тебе бросился и под хохот уважаемой публики и брань нашего импресарио помогал стягивать с тебя этот чертов костюм и говорил: “Знаешь, приятель, если взглянуть на все с хорошей стороны, то по внешности ты самый что ни на есть факир”. А ты, бедный, смотрел на меня своими глазищами, как у бычка, которого привели на заклятие, и думать не думал, что я тебе уготовлю такое потрясающее будущее.

Кто тебе дал почитать книги Лобсанги Рампы, чтобы ты имел хоть какое-то представление об Индии? Я, твой друг, кто еще!

Кто смолчал, когда ты, не прочитав ни единой страницы, променял эти книги на пару бутылок дрянного вина?

Кто все это стерпел? Опять же я, твой друг!

Вспомни, кто тебе показал, что исхитряются делать матросы с торговых судов, чтобы жевать стекла до тех пор, пока они не перемелются в белый порошок, и как прячут их под языком. И не я ли раздобыл пузырьки с краской, которые так называемые маги держат в шляпе, когда показывают фокус с сырыми яйцами, и вспомни-ка, кто не пожалел денег на бутылки самого крепкого спирта, что идет на выделку кожи, и все для того, чтобы десны у тебя стали совсем сухими и твердыми, как камень. Поройся в памяти, милый, и скажи, не я ли научил тебя просовывать бритвенные лезвия меж зубов, тихонечко, очень медленно, не касаясь десен, чтобы затем, двигая языком, разламывать их пополам. И не забывай, сколько моих денег ухлопано на ампулы для заморозки! Ведь без уколов ты бы и думать не смел о номере, где протыкают острыми булавками руки. И дело не в том, что я имел от тебя какие-то деньги, дорогой, мы же как братья, ну правда! Одного хочу: чтобы ни ты сам, ни кто другой не говорили, что вовсе не я был тебе самым лучшим другом в жизни. Я был настоящим другом, который тебя вылепил, взял за руку и повел по дорогам таких успехов, что ты пьянел от одних аплодисментов. Стало быть, мой милый, именно я, сделавший из тебя артиста, и есть твой самый настоящий друг.

Но ты, дорогой — и уж прости, что говорю это сейчас, при таких страшных обстоятельствах, таких нелепых, — всегда был упрямым, хуже осла. Сколько раз я тебе говорил: “Друг, талант талантом, но человеку надо знать, где край”. Только говорить с тобой становилось все труднее и труднее, сейчас я понимаю — у тебя от славы крыша поехала.

Но вспомни, как я негодовал, думал, умру от злости, когда ты безо всякой репетиции выходил на арену, да еще пьяный, и не мог сделать ничего путного. А мне — объясняй уважаемой публике, что ты спотыкаешься на ровном месте вовсе не с перепою, а наоборот — блюдешь пост, как любой уважающий себя факир. И уж грех не вспомнить, чего мне стоило добиться твоего выступления на телевидении, а ты накануне ночью, не сказав ни слова, оставил в залог шелковую

накидку факира в одном из портовых борделей. Пришлось оббегать все публичные дома в порту, чтобы выкупить эту роскошную накидку, в которой ты всегда выходил на арену. И вот так, расспрашивая всех тамошних путан, я нашел наконец ее в борделе — она лежала вместо скатерти на засаленном столе. “Да я куплю у вас эту занавеску”, — сказал мне их разнаряженный педик; откуда ему знать, что я двадцать ночей не спал, все пальцы исколол, вышивая знаки зодиака на твоей накидке в том самом порядке, в каком они указаны в альманахе “Бристоль”.

Сколько раз тебе было говорено: “Не ходи пить в цирковом костюме, подумают, что ты полоумный”. А ты — ноль внимания, только радовался, что тебя принимают за пакистанского посла.

Ох, друг! Дружок, прости, что повторяюсь, но ты был упрямей, чем осел. И вот теперь сижу здесь, выкурил чуть не целую пачку сигарет и все думаю, думаю, голову сломал, но не могу представить, где ты взял эту чертову саблю! Если верить нашему карлику, ты, набравшись как следует, сказал: “Пришел час для Али Касама, теперь он сумеет показать такое, чего никто не видывал в этом сраном цирке. Хватит Али Касаму, лучшему факиру на земле, глотать гвозди, он проглотит саблю, всю целиком. Кавалерийскую саблю, без соли и по самую рукоятку!”

Когда мне позвонили, друг, я сидел себе за рюмочкой моего вина, ты-то знаешь, я люблю эти некрепкие вина, от них в душе покой, тишина и никаких скандалов. Наоборот — собираешься с мыслями и придумываешь новые номера, которые приносят бешеные аплодисменты. И сказать по правде, дружище, я как раз обдумывал один потрясающий номер, невиданный-неслыханный, для него надо лишь удвоить дозу заморозки — и все дела; к тому же во мне прибавилось веры в тебя. Я уже готов был довериться тебе по-настоящему, а иначе разве оставил бы тебя без пригляда на трех последних представлениях, но Бог правду видит. А публика, она никогда не любила тебя по-настоящему, ты нет-нет да и допустишь какой-нибудь промах под занавес.

Когда мне позвонили, дорогой, я помчался сломя голову. Ты же знаешь, я всегда спешил тебе на выручку, только прости, браток, честно говоря, меня смех разобрал, когда увидел, как тебя выносят на носилках: сидишь, скрестив ноги, рот распялен, и оттуда торчит половина сабли.

Нет, когда увидел все это, у меня ноги подкосились, но под конец стало смешно от такого дикого зрелища, хоть глаза у тебя были закрыты и две струйки крови стекали изо рта. Мне стало смешно оттого, что санитары скрутили тебе руки, ведь с тебя станет, запросто мог бы вытащить саблю или, наоборот, засунуть ее еще глубже, чтобы выиграть спор.

Прости, что говорю все это теперь, но тебя, милый, как ни бейся, ничто не брало. Санитар сказал, что саблю вытащили и скоро мне все отдадут. Я спросил, что значит “все” — саблю? А он в ответ: и саблю, и тебя. Как зашьют, так вы и получите вашего покойничка, сказал.

А на улице, дружище, какая-то женщина плачет в голос. Ну почему бы не сказать раньше, что ты женат! Она меня такими проклятьями осыпала. Грозила тюрьмой — мол, я один в ответе, втемяшил тебе в голову чушь насчет факира. Я всю ее

брань проглотил молча, ты меня знаешь. Сказал только: “Я, сеньора, выучил его цирковой профессии, я, между прочим, его менеджер и, главное, его настоящий друг”. А она кричит и кричит, что это я виноват, что из-за меня ты умом рехнулся. И вот какво мне тут! Сижу жду, когда тебя вынесут, может завернутого в накидку, которую я собственноручно вышивал, она, помнишь, сразу принесла нам удачу. А может, ты уже завернут в простыни или засунут в пластиковый мешок. Да какая разница! Вот он я, здесь, твой настоящий друг, от тебя ни шагу до последней минуты, как в лучшие наши времена.

Не знаю, что будет дальше, но главное, чтобы все уверились, что я, а не кто-то там, был тебе настоящим другом, я, не кто-нибудь, научил тебя трюкам, от которых люди сидели с разинутым ртом, я расшил шелком твою накидку, я покупал тебе талисманы на счастье и сижу теперь рядом с тобой, хоть нас разделяет эта белая стена, я сам заплачу за гроб, свечи и священника, я добьюсь венка от имени синдиката циркачей, я положу все силы, чтобы признали где надо, что ты погиб в результате несчастного случая на работе, я сегодня объявлю в цирке минуту молчания и помолюсь за упокой души Али Касама. Ну вот, открываются двери. Двое парней в белых халатах несут носилки, и я узнаю одну из твоих остроносых туфель.

Санитар спрашивает: “Кто забирает мертвяка?”

“Я, господа!” — отвечаю.

“Вы родственник?” — спрашивает санитар.

“Нет, его лучший друг”, — говорю я, потому что так оно и есть.

MY FAVORITE THINGS (Из цикла “Невстречи с самим собой”)

Он сидит, уставившись в неподвижность вечера, и пытается уловить рисунок в бликах воды на стекле, в лучиках света за окном, которые просачиваются сквозь кусты. Порой он бросает взгляд на часы без всякого желания узнать о времени, потому что оно ему ни к чему.

Как неподвижны эти вечера с их рутинной чередой умирания, которое угадывается и в плотных шторах на окнах, и в последних отблесках света, обрисовывающих все подробности притихшего домашнего интерьера, и в темных решетках, отбивающих всякую охоту выйти из дома за спичками, и в тусклом освещении на улице, которое отбрасывает длинные тени-обелиски на брусчатую мостовую. Вечер вбирает в себя дым сигареты, топит все в густой, как бы отвердевшей синеве, а на самом деле до того хрупкой, что она сразу куда-то исчезает, едва он возвращается мыслями к только что прочитанному сообщению о смерти Телониуса Монка. Как глупо, думает он, что в человеке все может перевернуться от заставшей его на улице вести о смерти того, кого он ни разу не видел, потому что их всегда разделяло огромное расстояние. Если он сейчас примется подсчитывать какое, заглянув предварительно в энциклопедию “Эспаса”, то вечерние тени совсем застынут и с улицы еще сильнее потянет запахом мочи.

Он помнит, что у него есть пленка с записью квартета Телониуса Монка, что там на сопрано-саксофоне играет сам Джон Колтрейн, что с той поры, как он слушал “My Favorite Things”, прошла целая вечность, и теперь поздно листать календарь памяти.

Встав на четвереньки, он сдувает с магнитофонных пленок пыль и, лениво пробегаая глазами надписи, сделанные цветными чернилами, отмечает мысленно, что они уже выцвели от времени. Вот она, эта пленка, — “My Favorite Things”! А Телониус Монк умер на другой стороне планеты, и, быть может, последнее, что он вдохнул, — это дым сигарет, тех самых, чей запах сейчас наполняет комнату, где над всем нависла тяжесть недвижимого вечера. А ему помнится чувственное дыхание Колтрейна в сопрано-саксофоне.

Он открывает бутылку вина, собираясь выпить в память человека, о чьей смерти кричит развернутая страница газеты. Он ставит бобину на магнитофон и усаживается рядом, чтобы не пропустить ни одной ноты, но вместо музыки раздается механическое шипенье, точно внутри зарылся кот-астматик. Плохая запись, проносится в голове, и немудрено, ведь первые записи делались безо всякого опыта, второпях, лишь бы сделать своей собственностью эту музыку, заключить в ленту все богатство ее звуков, когда-то заполнявших концертные залы. Присвоить, чтобы не забылось, — вот главная цель! Эта музыка — свидетельство тех дней, где было начало и очевидный конец всего, но без преждевременных, а может, уже запоздалых оценок и выводов. Меж тем минуты проходят одна за одной, и это уже невыносимо, что тут думать — пленка испорчена. Слишком давно ее не слушали, столько было отъездов-переездов. А что, если закапать туда оливкового масла?

Он идет на кухню, возвращается с хлебным ножом, пробует вытащить из

магнитофона ленту и видит, что она порвалась, вернее надорвалась, ну это еще полбеды!

И вот он снова на четвереньках, весь напрягся, точно хирург перед неотложной операцией. Даже вспотел, и пальцы кажутся слишком большими, неловкими для такой тонкой работы, но в конце концов ему удается склеить место разрыва. Натянув ленту с помощью карандаша меж двух бобин, он снова вставляет ее в магнитофон. Вот теперь — да, теперь через несколько секунд “My Favorite Things” разгонит все тягостные мысли об этом застывшем во времени вечере. И чтобы должным образом отметить свою победу, наливает себе бокал вина до краев. У него сжимается сердце от первых звуков музыки. Может, думает, так уже было, но затерлось в памяти, ведь это плач, да-да, это плач женщины, еле слышный, сдерживаемый, а вместе с плачем пробиваются голоса, это слова утешения, которые в чем-то убеждают, но они приглушены, невняты, и невозможно разобрать их смысл. Тогда он встает с колен, усиливает звук, прикивает ухом к динамику и наконец узнает — это плачет его мать! Голос сквозь слезы говорит о мечтах и надеждах, там, на другом берегу огромного океана, и плач такой тихий, но безутешный, а поверх утешительных голосов он наконец схватывает значение некоторых слов, что-то вроде: я всегда ожидала этой вести, так горько не быть там, рядом с ним; и вот тут проступает голос брата, более сильный и решительный, знакомый голос, который временами с яростью сплевывает слово “дерьмо”; а затем его перебивают голоса теток, дядьев и самых дальних родственников, которые вдруг всплыли в памяти. Родственники, друзья — сколько раз он обещал написать им, но бросал начатые письма на первой строке, а потом они оказывались в корзине для бумаги, вместе с пробками и бесчисленными окурками сигарет, выкуренных ночами ожидания, полудремы и невольно излившейся спермы.

Теперь он слушает стоя, уткнувшись лбом в стекло, а за окном ничего, кроме теней умирающего вечера. Голоса сменяют друг друга, и слышится звяканье фарфоровых чашечек, и чей-то шепоток предлагает рюмку коньяка, а следом кто-то, не различить кто, говорит, что надо дать рюмочку и старухе, а затем паузы, которыми незамедлительно воспользовался наглый кот-астматик, чье хрипловатое сипенье протискивается меж голосами, этот кот-невидимка живет во всех магнитофонах мира, вот и сейчас он мешает голосу дяди Хулио, а тот почти радостно говорит, что в той стране социальное страхование действует безотказно, и дальние родственники тут же наперебой расхваливают порядок в европейских учреждениях, и вот уже все согласным хором подхватывают, что тревожиться не надо, удар, само собой, страшный, но если подумать, бедняжка наконец-то обрел покой, мы же все знаем, каким он вышел из тюрьмы, совсем больной, и хоть бы кому пожаловался, мужество его не покидало до последней минуты, это говорит человек, который берется все оформить в консульстве, завтра же он непременно справится насчет цен в “Люфтганзе”, но как знать, может, ему хотелось навсегда остаться на этой земле, рядом со стариком? Ну да, именно этого ему и хотелось, и он нажимает кнопку stop. Затем смотрит в окно на улицу, которая кажется еще пустынее и неподвижнее, чем всегда. Теперь он собирается выйти, но на сей раз без ключей, поскольку знает, что больше не войдет в этот подъезд, не будет жить в этой квартирке одинокого человека и никогда не услышит “My Favorite Things” в исполнении квартета Телониуса Монка, где Джон Колтрейн играет на сопрано-саксофоне.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ОДНОГО ИЗ ВЕЛИКИХ (Из цикла “Невстречи в быстротекущем времени”)

В этом поезде, который приближается сюда сквозь болота, в этом поезде, который мы пока не видим, но знаем — он все ближе, и уже слышны проклятья пассажиров, отбивающихся от moskitov, — так вот, в этом поезде, как всегда, везут нам жизнь и смерть.

Вы это знаете, но из-за упрямства делаете вид, что вам это без разницы, и глаза у вас совсем пустые. Вы это знаете, потому как именно по вашему приказу протянули сюда железную дорогу, которая из чужих широт принесла нам страшное опустошение, доставила в своем стальном чреве беды, неведомые доселе в здешних краях.

А я все говорю и говорю с вами, мой генерал, коли мне велено занимать вас разговорами, пока не прибудет поезд, пока не остановится, пока не сойдут на перрон правительственные чиновники с официальными бумагами, в которых будет сказано, кто вы — герой или подонок. Но, вижу, вы меня не слушаете. Все смотрите на улицу, уставившись в одну точку. Вы меня не слушаете, я знаю, уперлись глазами в край синей жестянки, где указано название улицы. Улица Короля Дона Педро. Откуда взялся этот король? — задались однажды вопросом очередные члены муниципального совета. А у родины всегда столько героев, терпеливо ждущих случая в архивах забвенья, что извлеки наугад любого, дай его имя какой-либо улице и не ошибешься, как, к примеру, с этой, которая начинается с борделей, примыкающих к вокзалу, и заканчивается белыми стенами тюрьмы.

“Это кастильский король, дубины. Его имя есть в любом издании альманаха “Бристоль”.

После вашего указания, мой генерал, учителя истории каждый день толклись у почты в ожидании книг канцлера Лопеса де Айялы и графа де ла Рока Хуана Антонио де Вера-и-Фигероа. Но, как оказалось, в их книгах столько страшного написано о жизни этого жестокого испанца, что ученикам лучше не рассказывать. А мы — черт побери! — уже дали этой улице его имя. При всем почтении к вам, мой генерал, я скажу, что вы сейчас похожи на подбитую птицу.

Когда я открыл дверь камеры, чтобы впустить сюда хоть немного дневного света, вы на меня так уставились, будто ждали, что вам объяснят наконец, за что вас сунули в такое непотребное место. Я уверен, что вы вспомнили другую комнату, тоже темную, без окон, провонявшую крысами и мочой ночных тварей, ту другую, в которой вас заперли в день вашего рождения, когда вам исполнилось пятнадцать годков. К тому времени вы устали бродяжничать по деревням, выпрашивая кусок юкки, чтобы хоть как-то обмануть голод.

В эту темную комнату вас бросили, мой генерал, измолотив изрядно за то, что вы оставили на растерзание стервятников бездыханное тело вашей святой матушки. И когда дверь наконец открыли, человек с надменным лицом торжественно представил вам девять юношей, которые смотрели на вас с изумлением, не в состоянии поверить в силу ваших крестьянских мышц. “Посмотрите, да это

обезьяна! Посмотрите, это настоящая обезьяна!” — кричали они каждый раз, глядя, как вы ловко залезаете на высоченные агуакате, растущие во дворе, чтобы сорвать самые сладкие, самые спелые плоды. Эти юноши были “другими”, мой генерал. Они спали в прохладных комнатах большого дома с окнами, защищенными, как положено, от жужжания слепней, они безмятежно отдыхали за белым вздохом тончайшей тюлевой сетки, ограждавшей их от туч песчинок, от этих проклятых москитов, которые по ночам залезают в волосы и мучат укусами даже самые добрые мысли. А вам, мой генерал, пришлось спать в той сырой комнатенке рядом с хлевом, потому как вы народились незаконно, но, по счастью, были взяты в дом к вашему сеньору отцу, который сделал это, усюветясь, в приливе чувств, схожих с теми, что он испытал после того, как самолично выпорол вас прямо на месте преступления, то есть там, где вы лежали, зарывшись в грудях кухарки, выпорол, а потом обнял и, глядя в ваши глаза, сказал, что позволил себе такое исключительно ради вашего блага. И что, мол, этот хлыст всевластного всадника, от щедрот которого вся ваша задница превратилась в сплошной синяк, — тоже для вашего блага. И что он понимает — вам приспичило пустить в ход ваше мужское хозяйство, но так ли сяк ли, все равно негоже для начала заваливать служанок, которых он держит под своей крышей. И еще сказал, что мужской пыл в первые годы надо тратить по-умному, мол, взять к примеру меня — однажды во мне разыграло и я нахрапом одолел ту, которая и стала твоей драгоценной матушкой, обрюхатил, бедную, сам того не желая. Запомни раз и навсегда, сказал он, простые крестьянки могут забеременеть от одного твоего взгляда, и с какой радости плодить детей повсюду, если ты еще не научился вытирать сопли.

И вы, мой генерал, все поняли как надо. Поняли среди прочего, что в этой жизни есть такие грозные пропасти, к которым лучше бы не приближаться. Поняли, что ваша грива, жесткая как у мула, никогда не станет послушной, как волосы у ваших сводных братьев, что ваша темная в желтизну кожа никогда не обретет матового блеска, который есть у тех, кто в охотку греется под солнечными лучами на лужайке собственного дома. Вы поняли, мой генерал, что вашей коже на роду написано быть задубелой, как у барабана, а уж цвет ее определяют дожди и голод, которые выпадут на вашу долю. К тому же, мой генерал, вы еще поняли по улыбочивым отказам служанок, которые сперва говорят “нет, нет!”, а потом “ну ладно, только где-нибудь в уголочке”, — поняли, как приятно чувствовать, что держишь в своих руках бразды власти, пусть и небольшой, но она будет возрастать, набирать силу с годами и мудростью ваших решений и поступков. Вы поняли, мой генерал, что эта жизнь для людей, твердых характером. Для тех, кто способен пригнуть голову, когда это нужно, и спрятать руки, чтобы другие не углядели четки ненависти, которые медленно перебирают их пальцы. Все это вы уразумели, мой генерал. И в комнате, провонявшей крысами и мочой ночных тварей, дождавшись наконец, когда ваш сеньор папаша покончит с ужином и выйдет, по обыкновению, на пользительную для пищеварения прогулку со своими любимыми собаками, вы подбежали к нему и со всем почтением сказали, что мечтаете стать военным.

Вам вроде нравится, что я с вами говорю, мой генерал. А мне велено, мне приказали занимать вас разговорами, пока мы с вами ждем этого поезда, который пересекает болото за болотом. Это ваш поезд, генерал. Тот самый поезд, что подарила нам Сопрану после того, как вы решились навсегда заткнуть глотки всем этим бандитам, поэтам и учителям начальной школы за то, что они нам до смерти надоели — таскаются по городам, будоражат народ своими речами, мол,

бананы — это зеленое дерьмо, которое только мараает столы бедняков. Еще дымятся костры памяти, те самые, на которых по вашему приказу жарили на медленном огне всех безбожников, либералов, всех тех, кто своими подстрекательными речами норовил заступить дорогу прогрессу нашей родины. Словом, вы у нас стали генералом, и каким! Любо-дорого смотреть! Это вы однажды поутру самолично выпихнули из правительственного дворца всех гражданских, вступивших в заговор против интересов нации, и вы сказали тогда, что пора наконец навести порядок в этой клоаке, что обстоятельства вынуждают вас надеть мундир военной власти и что все это ненадолго. И какие настали времена, мой генерал. Веселые времена, когда то и дело оглашали торжественные приказы и не умолкала хвастливая трескотня гражданских лиц, призывающих к проведению демократических выборов, а меж тем тайные руки власти искусно подсовывали сокровища национального достояния под кровать оппозиционеров. Тех самых, кто позднее был безжалостно вышвырнут из окон дворца руками оголтелой черни, этого осмелевшего сброда, разгоряченного спиртными напитками в ваших кабаках. Бедняги, эти оппозиционеры! Их волокли по земле и пинали ногами, сколько было сил, они же, пока их рты не закрылись навсегда, все клялись, что знать ничего не знают о картинах из церкви Непорочного Зачатия, оказавшихся вдруг под ковровой скатертью в столовой, когда в дом ворвался народ, возмущенный таким бесстыдным разграблением священных алтарей своей родины, и не смог сдержать праведного гнева. Потому что украсть в конце концов можно все, черт подери, но не национальную честь: ее не запрядешь ни в один мешок, как говорили непреклонные прокуроры Военного суда, перед тем как просить у суда высшей меры наказания для виновных с конфискацией их имущества, а также подвергнуть их всеобщему позору. Этот приговор вовсе не был вашей жестокой шуткой, ибо то, что не доели собаки, тут же склевали ястребы, поселившиеся в мангровых лесах, и от казненных не осталось ничего, кроме их имен.

Вы быстро взяли всю власть в свои руки, ну а нам — пожалуйста, чего беспокоиться. Ведь именно этот поезд, который торопится сюда, пересекая болота, увез вас, мой генерал, вместе с вашей безупречной армией в самые дикие края сельвы, которых не было даже в воображении картографов. Поезд отправлялся забитый пеонами и стальными рельсами, которые двигали прогресс, и возвращался груженный самыми мелкими зелеными бананами и людьми, которые безо всякой музыки безостановочно плясали, обезумевшие от малярийного жара.

“А теперь куда вы собрались, наш генерал?” — кричала вам толпа, теснившаяся у станции. А вы ей в ответ: “Доберемся до волшебного Затерянного Города Цезарей, где дома сложены из брусков настоящего золота, а небосвод над ними увешан самородками изумрудов, которые падают наземь, когда дуют добрые ветры астрологических перемен. Я вернусь в доспехах самого Понсе де Леона, и вы это увидите, сукины дети!”

Ух, как вы все это нам пели, мой генерал! Черт возьми! Говорили из своего личного вагона, зароняя в нас надежду о жизни в богатстве, а рядом с вами — мистеры из Сопрану. Вы нам говорили, что когда поезд доедет до другого края непролазной сельвы, вы устроите такой порядок, при котором все граждане по очереди смогут есть рыбу из обоих океанов на каждую святую пятницу. Вы нам обещали такие огромные хлебы, что придется издать президентский декрет об ограничении их размеров, иначе эти хлебы не внести в дом. Вы нам сулили, что у

нас будет уйма денег, а все проигрышные билеты лотереи заранее повытаскивают дети-подкидыши. А мы радостно отбивали ладоши, мой генерал, до тех пор, пока ваш поезд не скрывался в горных лесах.

Вы помните, генерал, тот день, когда ваш поезд остановился с диким скрежетом и уже без мистеров из Company? Ваш поезд заполнил тогда наши улицы солдатами, потому что вы согнали нас, как скот, на главной площади, чтобы сообщить, что нам объявили войну, что спокойная праздная жизнь закончилась и настало время показать, что мы могучие мужики.

В одно мгновение по вашей воле звуки гитар сменились жалостными криками тех, кто вас молил устами, почерневшими от ненависти и пороха: “Позволь умереть нам сразу, генерал, посмотри, посмотри — снаряд отнял у меня обе ноги, либеральную и консервативную, теперь уж мне не дойти ни туда ни сюда. Посмотри, генерал, я теперь кусок дерьма, пусти в меня пулю, здесь, на месте, пусти эту пулю прямо промеж моих глаз, которые угасли намного раньше, прежде чем узнать вас на портрете, нарисованном на бумажках в сто песо, сделай милость, генерал!” А вы в ответ: “Не притворяйся увечным, дубина, раз есть руки, — значит, можно показать всю мужскую оснастку”.

И вот, вы нас одели в солдатскую форму, мой генерал. В вашем поезде был вагон, где хирурги с пилой в руках осматривали умирающих и именем родины наспех отпиливали конечности и прочие члены, которые, по их разумению, могли пригодиться. Поезд вез нас пока еще целехоньких к полям сражений, но мы больше не надеялись остаться с руками-ногами и всем прочим, если вернемся. Поезд уже был не в радость. Женщины теперь не выходили к его прибытию, чтобы вы стали крестным отцом их седьмого ребенка, как в добрые старые времена, когда вы брали младенцев на руки, не разбирая, зачаты они по закону на белых простынях или стали плодом греха во время карнавального разгула. Вы помните то утро, когда поезд не сдвинулся с места и вы в закрытом вагоне били по лицу инженеров, которые подсунули вам фальшивые географические карты. Это был тот самый день, когда, еще толком не проснувшись, мы узнали, что наш город в осаде.

Нам оставалось лишь положиться на судьбу и надеяться, что как-то вылезем из беды. И чего нам это стоило! Мы спалили лес и все, что было посажено нашими руками. Мы свели огнем поля зеленого ячменя и плантации самых сладких бананов, мы не пожалели эвкалиптовые леса, исцеляющие от чахотки, и луга, где паслись коровы наших помещиков. Мы все свели огнем. Языки его пламени можно было видеть с берегов двух океанов, и клубы дыма сделали черными бараньи личики ангелочков в этих окаянных небесах, которые оставили нас, беззащитных и сирых. Мы свели огнем священного патриотизма все и засеяли наши поля четырехлистным клевером. Мы переловили всех зайцев и у каждого отрезали все четыре лапки; остались миллионы шариков, пушистых и окровавленных, которые пытались бежать, опираясь на свои длинные уши, и все это для того, чтобы ваши солдаты, генерал, прицепили к воротникам не одну, а четыре заячьи лапы, которые служат оберегом. Мы раздали всем скапулярии, на которых были изображены все до единого святые, указанные в альманахе “Бристоль”. Это были огромные скапулярии, и самые отъявленные еретики кутались в них как в одеяла, когда их до потрохов пробирала дрожь тропической лихорадки. В то самое время, мой генерал, вы, сидя на своем кресле безраздельной власти, издали чрезвычайный президентский указ военного времени, согласно которому горб —

это добрая примета, и всем горбунам, проживавшим на нашей территории, назначили пожизненную пенсию, размер которой пропорционален величине горба; одновременно, мой генерал, по вашему приказу немедленно изгнали из страны всех чужестранцев, кроме горбунов. В скором времени мы увидели, что нашу страну наводнили горбуны, прибывшие со всех широт секстанта; к этому нашествию прибавились еще и тысячи увечных, когда вы, генерал, своим президентским декретом военного времени объявили всех одноруких достойными гражданами, которые принесут удачу стране, всех одноруких, что осмелились поднять руку на своих драгоценных папаш и мамаш, всех хромых, что пошли по тропам зла и порока, всех слепцов, что пели “жизнь моя, ты не покинь меня”, играя на старых разбитых аккордеонах, и пытались заглянуть за пределы дозволенного в Священном Писании, и еще всех, кто стал безухим за то, что слушал рассказы цыган, всех близняшек, всех сросшихся спинами (оттого, что они — дети греха кузенов с кузинами, жившими по соседству), и еще всех, кто родился на седьмом месяце, а это дети неведомых отцов, которые слишком торопливо занимались любовью с их будущими матерями, печальными женщинами, в чьих глазах застыли галактические облака, оттого что они долго вздыхали, глядя на небо во время своих критических дней.

Все понаехали, генерал. Понаехали тысячи и тысячи увечных. Их стало так много, что наша осажденная республика превратилась в огромное скопище уродов, суливших нам удачу. Царство ужаса и увечий. Место, где человек, у которого руки-ноги целы, воспринимался как изменник, как тягчайшее преступление против родины. Это было такое место на земле, где никто не мог подладиться к ритмам оркестра, и музыканты с горя вешались на струнах своих скрипок.

И судьба смиловалась над нами, мой генерал. Когда мы уже в полном отчаянии взирали на все немыслимые ошибки, что совершила Ямилет, дочь Талаганте дель Сур, ясновидящая девушка, которая сделала так, чтобы к слепцу никогда не вернулось зрение, но зато наделила его невероятной скоростью в беге, и бедняга помер от удара, наскочив на камень, который он не видел и не мог видеть, и еще Ямилет сделала так, чтобы хромым никогда не смог ходить ровной походкой, но зато видел все, что творится за горизонтом, и он, несчастный, оказался под вашим поездом, генерал, потому что в те минуты зачарованно следил за воздушным гимнастом, который шел по тонкому канату с повязкой на глазах над Ниагарским водопадом, — и вот в это самое лихое время явились вы, мой генерал, снова в сопровождении мистеров из Сопрану, и сказали, обращаясь к нам, что пора взяться за работу, хватит бездельничать и ждать у моря погоды, что пора сажать бананы и выдать немедленно всех провокаторов, которые снуют повсюду со своими баснями о том, что мы слишком долго воевали.

И вот так, генерал, все события страшной кровавой бойни быстро стерлись в нашей памяти благодаря усердию и хитроумию официальных историков, а также нотариусов в длинных сюртуках, которые ловко уничтожили все записи в церковно-приходских книгах: да опомнись, женщина, какого хрена ты мне плетешь о своем покойнике, ведь он никогда не рождался! А стало быть, с чего бы ему помирать, возьми в толк, женщина, все это наговоры и сплетни предателей родины, чтоб их разорвало, чего только не придумают, сволочи. А сам, мой генерал, было наплевать на казармы, забитые трупами в ожидании адского поезда. Вам было наплевать на проклятья вдов, которые похоронили своих мужчин с парой ног, украденных у других трупов (эти ноги, возможно, и пригодились бы их мужьям, чтобы сплясать на карнавале, но они стучали по полу,

наводя ужас в безлунные ночи), или с синим глазом моряка, который очень бы даже подошел к их лицу, но не переставал моргать, вспоминая своего хозяина. Время скатывалось в прошлое, мой генерал. И мы вас видели несколько раз в вагоне поезда, который летел мимо банановых плантаций. А позднее нам сказали, что вы находитесь на севере и вооружаете живущих в горах партизанок, что гражданские, эти бандиты из бандитов, взяли и вытолкали вас из правительственного дворца. Потом они явились к нам с вашим знаменитым портретом, где на вас президентская лента через плечо, а на следующей неделе полицейские снимали все ваши портреты с государственных учреждений да еще сокрушались, что бумага такая плотная — никак задницу не подтереть. И вот — нате вам, вчера вы явились сюда собственной персоной, без всяких знаков и отличий вашей сиятельной власти былых времен, явились, провонявший мочой и ослиным потом.

В этот час, генерал, ваш поезд уже проезжает через болота. Уже заметно, что народ просыпается после сиесты. Я-то не сплю, генерал. Я уже стар, как и вы, и берегу сон для беспробудной ночи смерти. Вот почему мне поручили быть с вами и занимать вас разговорами. Мне еще велели смотреть в оба, и даже очень. И вот я перед вами, все говорю и говорю, а вы делаете вид, что не слушаете меня и лишь смотрите на кусок жестяной полоски с названием улицы. А я могу и дальше говорить. Мое дело – занимать вас разговором, пока не прибудет поезд; но вы, мой генерал, ведите себя тихо, ведь у меня на случай ружье на изготовку, и если вы вдруг взбрыкнете, я, мой генерал, при всем моем почтении к вам, спущу курок. Осталось-то всего ничего. Сами увидите, через несколько минут поезд остановится, и когда из вагонов выйдут чиновники с государственными бумагами, они нам скажут, остаетесь ли вы у нас по-прежнему национальным героем или совсем наоборот: объявят, что вы — последняя сволочь.

Переводы Эллы Брагинской

ИСТОРИЯ НЕМОЙ ЛЮБВИ (Из цикла “Невстречи в любви”)

Мне не нужна тишина,
ведь уже не о ком думать.
Атауальпа Юпанки

С Мабель меня познакомила новая мода; я, правда, не большой ее приверженец, но иногда все-таки хочется одеваться прилично и носить брюки более широкие или более узкие, как она того требует. Но дело не в моде, а в Мабель, о которой я хочу рассказать, хотя ее образ удаляется от меня все дальше и дальше, превращаясь в расплывчатое и грустное воспоминание.

Она была младшей из трех сестер, немых от рождения, которые владели маленьким ателье в одном из небогатых районов Сантьяго. Оно же служило им и жильем. Тяжелая темная штора отделяла гостиную от мастерской, куда заходили клиенты, и, когда я впервые переступил их порог, мне показалось, что я очутился в каком-то ином мире, населенном карликовыми пальмами и папоротниками, в уютной атмосфере покоя и умиротворенности.

Мабель и ее сестры зарабатывали на жизнь шитьем, в основном перешивая галстуки и шляпы. За несколько минут своими чудесными руками они превращали пестрый широченный галстук в изящную красивую вещь, которая подошла бы и к вечернему итальянскому костюму. Кроме того, они показывали совершенно бесплатно клиенту, чаще всего толстому и потному, как красиво (а не треугольным, уже немодным, узлом) завязать галстук, чтобы он был похож на галстук наследника английского престола. Иногда к ним заходил человек в широкополой шляпе, а через несколько минут он получал тирольскую шляпку, которую охотно надел бы сам австрийский канцлер.

Понимать сестер, особенно Мабель, было очень легко: они умели говорить губами, слышали же довольно хорошо, а если клиент четко произносил слова, могли читать их по его артикуляции.

Мне понравился их сразу, и я начал носить им мои галстуки. У двух старших сестер были очень энергичные жесты, характерные для немых. Мабель, наоборот, была спокойной, неторопливой, и все, что она произносила губами, читалось в выразительном блеске ее глаз. Чем-то она притягивала меня к себе. Нет, о любви речь не шла, по крайней мере вначале. Мне просто приятно было сознавать, что Мабель принадлежит к тому молчаливому миру, где для меня тоже есть место. Она казалась мне волшебной феей, которая появлялась из-за тяжелой темной занавески, когда я заходил в помещение для клиентов, и я сразу чувствовал, что жизнь имеет какой-то смысл. Не знаю, как это объяснить — я ощущал себя там в безопасности.

Когда все мои галстуки были уже перешиты, я начал покупать их в магазинах старых вещей. На этих невероятных экземплярах, которые вышли из моды раньше, чем я родился, красовались деревенские пейзажи с коровами, памятники национальным героям, звезды спорта, портреты певцов. На меня смотрели, как на сумасшедшего, и старались всучить весь товар, что годами валялся в витринах.

Мабель очень быстро разгадала мои трюки. Ни у одного мужчины не могло быть такого количества галстуков, да еще таких экстравагантных. Однажды вечером глазами, губами и жестами она сказала мне, что не нужно разоряться, покупая старые галстуки, а если мне приятно приходить к ним, то она будет этому очень рада.

Жизнь моя совсем переменялась. Я перестал играть в бильярд, перестал пить пиво с приятелями. Каждый вечер после работы, делая большой крюк, чтобы не встретить своих дружков, я направлялся к дому немых сестер. Мы пили чай с печеньем и разговаривали обо всем на свете, после чая включали радио и молча слушали музыку и песни знаменитой тогда певицы Мабель Фернандес. Потом выпивали немного вина и включали популярную передачу “Третье ухо”, которая рассказывала много всякой интересной всячины.

У сестер стоял большой радиоприемник, к которому Пепе, местный электрик, подключил три пары наушников с очень короткими проводами, так что женщины вынуждены были склонять головы к самому радиоприемнику. Было забавно смотреть, как они стискивали руки, когда преступнику удавалось настичь свою жертву, и облегченно вздыхали, когда главный герой спасал девушку. Истории гангстеров в Чикаго, сухой закон на западе Соединенных Штатов, разнообразнейшие версии “Ромео и Джульетты”, подвиги Геракла, а с наступлением Рождества обязательные рассказы о жизни и смерти Иисуса — все это слушали сестры.

Очень скоро я стал их постоянным вечерним посетителем, и после короткой дискуссии, затеянной мною, они согласились на то, чтобы я приносил хотя бы вино к ужину, а в воскресенье — торт.

Так прошло несколько месяцев. Однажды, прослушав очередной рассказ из “Историй зловещего доктора Мортиса”, Мабель проводила меня до дверей. Там мы немного постояли, глядя, как проезжают редкие машины. Я курил, а она тянула лимонад. Неожиданно, уже попрощавшись, она сказала, что хотела бы поговорить со мной наедине, и предложила встретиться завтра в полдень возле магазина “Немецкое белье”, куда она ходила покупать материалы для шитья. Так мы и договорились.

Я шел на эту встречу, как на тайную нелегальную сходку. Я боялся столкнуться с кем-нибудь из старых друзей, представляя себе, о чем они будут потом говорить во время игры в бильярд. Поэтому я повел ее в кафе подальше от центра города. Мы заказали кофе с молоком, и я сказал, что готов ее слушать. Она придвинула ко мне стул и молча начала говорить. Я прекрасно понимал ее. Она сказала, что очень уважает меня как друга. Ведь мы друзья? Сказала, что знает, какая она некрасивая, правда не такая уж некрасивая, как некоторые женщины, которых она видит на улице, но она слишком худая, не умеет ходить так, как это нравится мужчинам, и знает, что я отношусь к ней не как к женщине, а как к другу. Потом, помолчав немного, добавила, что я первый друг в ее жизни. Я взял ее руки в свои и вдруг почувствовал, что удивленные взгляды официантов мне абсолютно безразличны. Мабель впервые сидела в кафе не с сестрами, а с чужим человеком и чувствовала себя счастливой. Она доверяла мне — эти слова она повторила несколько раз. Постоянно сидеть дома и шить, выходя только в магазин за материалами для работы, — вот из чего состояла ее жизнь. Иногда она позволяла себе полакомиться мороженым да еще раз в месяц ходила платить

за электричество. Ей уже тридцать пять, а кроме того, о чем она мне рассказала, у нее в жизни больше ничего не было.

— Подожди, ты что, никогда не ходила в школу?

— Нет. Для родителей большой трагедией была немота всех трех дочерей, и они держали нас дома, даже прятали от соседей. Посылать в обычную школу боялись, ведь дети жестокие — будут обижать нас, а специальная школа была далеко, да и не по карману.

— Но ты еще не сказала, о чем хочешь попросить меня.

Чтобы я немного показал ей мир. Она понимает, что у меня могут быть подруги, может, даже невеста, потому что я человек симпатичный и воспитанный. Но она хочет, чтобы я как-нибудь сводил ее в кино, где она никогда не была. И шутя добавила, что на танцы она тоже не прочь сходить. Конечно, все затраты она берет на себя, сейчас она неплохо зарабатывает.

Я был поражен.

— Ты никогда не ходила в кино, цирк, театр?

Она покачала головой и вопросительно посмотрела на меня, ожидая ответа.

Я сказал, что сделаю для нее все что смогу, что я давно хотел пригласить ее в кино, но как-то не решался. Не выпуская ее рук из своих, я добавил, что неправда, будто она некрасивая женщина и что ей даже нельзя дать тридцати пяти лет. Она нежно посмотрела на меня, наклонилась к моему лицу и тихонько поцеловала в щеку.

Мабель и я. За короткое время мы обходили все кинотеатры в нашем районе. Особенно ей нравились картины с участием Сариты Монтель. Мексиканское кино казалось Мабель слишком грустным и плаксивым, кроме фильмов Кантинфласа. После сеанса мы шли в бар Баамондес полакомиться ананасами, а потом подымались на холм Санта Лусия посмотреть на панораму города. Мабель заметно повеселела и стала гораздо красивее, а старшие сестры просто не понимали, что с ней происходит.

Однажды она попросила, чтобы я проводил ее в парикмахерскую, где ей сделали модную прическу. Потом она укоротила свои платья. Потом в один прекрасный день Мабель пришла, закрывая рот руками, и, только оставшись со мной наедине, опустила руки — ее губы были накрашены красной помадой. Она менялась к лучшему на глазах, и это мне очень нравилось. И однажды я решился пригласить ее на танцы.

Столица Чили, Сантьяго, шестидесятых годов. Каждую субботу в разных районах города устраивалось по меньшей мере несколько десятков праздников. Праздник по случаю выдвижения кандидатуры королевы красоты; другой праздник, чтобы собрать деньги для сирот; еще один праздник, чтобы помочь жертвам землетрясения, — в общем, бесконечные праздники.

Мабель надела красивое розовое платье, такого же цвета туфельки, в руках у нее была маленькая блестящая сумочка. В перерывах между танцами мы пили пунш из маленьких бутылочек и обсуждали участниц грядущего конкурса красоты. Я не отходил от Мабель ни на минуту, опасаясь, чтобы кто-нибудь не пригласил ее на следующий танец. Я не умел хорошо танцевать, а Мабель вообще была впервые на танцах, и все-таки мы танцевали как могли и пасодобль, и танго, и кумбию, и все, что играли музыканты. Где-то в полночь оркестр сделал перерыв и начали

крутить диски с Полем Мориа, Адамо и Элвисом Пресли. Было очень жарко, и пот градом катился с нас.

— Ты очень красивая, Мабель, очень красивая, — успел сказать я раньше, чем почувствовал чью-то руку на своем плече.

Обернувшись, я побледнел. Это был Сальгадо, один из моих дружков по биллиарду.

— Так вот почему ты исчез, теперь я понимаю, ну так представь меня твоей невесте.

Я не знал, что ответить, а Сальгадо, самоуверенный как всегда, отодвинул меня и взял Мабель за руку.

— Очень приятно познакомиться. Гильермо Сальгадо. А вас, лапочка, как зовут? Мабель смотрела на меня широко открытыми глазами и улыбалась.

— Что с вами, душечка? Вам откусили язык мыши или этот тип, что сопровождает вас?

Мабель перестала улыбаться, а я наконец выдавил из себя:

— С ней все в порядке. Ты уже представился. А теперь оставь нас в покое, исчезни.

Сальгадо энергично взял меня за локоть. Я оскорбил его в присутствии девушки, с которой он пришел, а такое не прощается.

— Послушай, разве так разговаривают со старыми приятелями? Если твоя подруга немая, это ее проблемы, и нечего мне хамить.

Я ударил его в лицо и разбил ему нос. Это была большая ошибка с моей стороны, так как Сальгадо был гораздо сильнее меня, выше и крепче. Сначала он остолбенел не столько из-за удара, сколько из-за крови, которая капала на его костюм, потом он выпрямился, и я получил страшный удар в глаз. В помещении поднялся крик, нас начали разнимать и в результате выставили с танцев. Глаз у меня распух и закрылся, мне было больно и стыдно. Я пытался извиниться перед Мабель, но она приложила пальцы к моим губам, чтобы я не разговаривал. Она крепко держала меня за руку, гладила по голове, и не знаю, как ей это удалось, но, пока мы ждали такси, она забежала в кафе и вернулась с целлофановым кулечком, наполненным кусочками льда.

В такси она положила мою голову себе на колени, а к глазу приложила кулечек со льдом. Мне казалось, что я – странствующий рыцарь или один из грандов, что служили при дворе короля Артура. Я ощущал себя настоящим мужчиной и жалел только о том, что у меня мало денег и я не могу сказать таксисту, чтобы он ехал до тех пор, пока я не велю ему остановиться.

— Ты прощаешь меня?

— Тсс!

Платье Мабель было тонким, и я чувствовал тепло ее тела.

— Ты прощаешь меня?

— Тсс!

Ее тело было теплым, ее руки гладили мои волосы, ее грудь касалась моего лица. Я обнял ее за шею и притянул к себе ее голову.

Сначала Мабель испугалась, как-то напряглась, потом, почувствовав мои губы на своих губах, закрыла глаза, и мы стали целоваться. Мы целовались долго, даже не знаю, сколько времени, и очнулись только тогда, когда услышали тактичное покашливание таксиста. Я посмотрел на улицу, весь мир показался мне пустым и лишенным смысла. Красный светофор остановил нас в совсем незнакомой части

города.

— Мы тут выйдем. Сколько с меня?

Мы шли обнявшись и останавливались каждые пять-шесть метров, чтобы поцеловаться, и целовались столько, сколько хватало сил, чтобы не дышать. Так мы дошли до маленькой безлюдной площади. Укрывшись под густой акацией, я крепко обнял Мабель, поднял ее платье и начал гладить ее ноги, живот, твердые ягодички и шелковистые волосы лобка. Вдруг я почувствовал, что она плачет. Я испугался, но Мабель уже сама крепко прижалась ко мне. Все произошло очень быстро. Гостиница в полутьме, невидимые лица портье и горничной, вручившей нам полотенца, большая постель, зеркало на стене, тихая музыка, ненужный телефон на тумбочке, розовое платье Мабель на стуле, ее маленькая грудь, аромат французских духов, глухой стон и слияние наших тел.

Потом я провалился неизвестно куда, а когда проснулся уже утром, глаз снова болел. Я искал руками Мабель, но ее не было, и я лежал один в незнакомой комнате.

Я посмотрел в зеркало и увидел, что глаз представлял из себя сплошное синее пятно, которое покрывало почти треть моего лица. К счастью, было воскресенье, да еще раннее утро, когда на улице никого нет. Я взял такси и поехал домой, надеясь, что к вечеру опухший глаз откроется и я смогу войти в дом, где за тяжелой темной шторой скрывается волшебный мир.

Но к вечеру проклятое пятно стало еще больше, а из глаза потекла какая-то беловатая жидкость. Целый день я пролежал в постели и на завтра не смог пойти на работу. Знакомый врач дал мне справку, выдумав обострение гастрита, и я еще три дня провалялся дома, прикладывая к глазу компрессы из воды с горчицей, не переставая курить и думать о Мабель.

На третий день мне стало легче, и вечером, нацепив на нос темные очки, я отправился к дому немых.

Меня встретила старшая из сестер и пригласила, как всегда, в гостиную. А где Мабель? Сестра угостила меня чаем с печеньем. А где Мабель? Жестами она объяснила, что Мабель поехала на юг к родственникам, так как неожиданно заболела бронхитом, а степной воздух очень полезен в таких случаях.

Этот вечер показался мне очень долгим. Две сестры с наушниками, музыка, радиопередача “Убийство на улице Морг”, наконец, ужин: суп, омлет с рисом, вино. А где же все-таки Мабель?

У нас нет адреса. Это далекие родственники, и только Мабель поддерживала связь с ними. Она не сказала, когда вернется.

Второй, третий, четвертый день. Те же самые ответы. А в какой город она поехала? Мы не знаем. Только Мабель знает, где живут те родственники. Она ничего не сказала? Ничего. А если с ней что-то случилось? А что может случиться? Может быть, вы знаете, в какую провинцию она поехала? Нет, мы уже все вам сказали.

Я перестал проводить вечера с немymi, просто стоял около их дома, и, когда

клиенты заходили или выходили со своими галстуками и шляпами, я заглядывал внутрь, надеясь увидеть Мабель.

Потом я перестал стоять у дома. За несколько монет мальчишки приносили мне информацию о жизни сестер. Ничего. Никаких следов Мабель. Никаких известий о Мабель.

В конце концов пришлось смириться с ее отсутствием. Я снова вернулся к биллиарду, к пиву. Сальгадо ждал меня, и я снова разбил ему нос, а он мне глаз. После этого мы помирились, решив, что дружба иногда требует драки. Мабель...

Со временем я научился не вспоминать ее глаза, ее губы и нежные руки. Все исчезло: та улица, ателье немых, широкие галстуки и шляпы. Уже давно сошел тот синяк с моего лица, но остался синяк в душе, и мне чего-то не хватает. Не хватает тебя, Мабель, и поэтому я ползу по жизни, как ящерица, потерявшая хвост, или как мотылек с одним крылышком.

Переводы Маргариты Жердиновской